

148 ПЕР 1980



ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

«УХОДИТЬ И ПРОЦАТЬСЯ БЕЗ СЛОВ...»

своих комбатов, повернувших «землю вспять». Казалось, что поет человек, который сам пережил войну, окопы. Я знаю, как удивились многие, узнав, что в год смерти ему было только 42, а, значит, в год начала войны — только 3. Но я сам слышал, как пожилой человек утверждал, что Высоцкому давно за 50, и он всю войну прошел. Геологи рассказывали, что он из них, из геологов, и даже где-то что-то раскопал, а моряки говорили, что он — потомственный мореплаватель, только моряк может так петь про то, как порвали парус...

И дело тут в его огромном таланте. Таланте поэта, актера, исполнителя — потому что в его песнях — умение проникнуть во внутренний

мир любого человека, причем, проникнуть так глубоко, что каждая из его песен кажется автобиографической. Он по природе своего творчества глубоко демократичен, ему интересно было любое человеческое проявление — одни он принимал, другие ненавидел — но не было в нем ханжества. Никогда он не отмахивался от каких бы то ни было сторон человеческого бытия — ибо все это жизнь, а жизнь он любил во всех ее проявлениях. Любил страстно, а впрочем, бесстрастно он делать ничего не умел — ни петь, ни играть на сцене...

Он работал в одном из лучших театров страны — театре на Таганке, в моем любимом театре. На афише этого театра, родившегося в

60-е годы, замелькали новые названия, новые авторы: Джон Рид, Есенин, Трифонов, Брехт... Новый репертуар, новые задачи требовали нового актера — актера открытого, смелого, гражданственного, темпераментного, актера, чувствующего время так, словно оно течет сквозь его жилы, как говорил Брехт. Такие актеры не могли не появиться. И такой актер появился — им стал Высоцкий.

Первый раз я увидел его в спектакле театра на Таганке «Пугачев». Эта есенинская драматическая поэма невероятно сложна для воплощения на сцене, даже Мейерхольд не сумел ее поставить. Любимов сумел. На огромном дощатом помосте — обнаженные по пояс люди, люди, которые не хотят жить так, как прежде. А на переднем плане — плаха и топор, все время, словно предвещающие трагическую судьбу повстанцев. А вот к ним, к этим повстанцам, рвется Хлопуша—Высоцкий. Актеры держат в руках цепи, позволяющие Хлопуше пробиться к Пугачеву, но тот вновь и вновь бросается на эти цепи. Бросается неистово, я вижу, как цепи эти впиваются ему в тело, оставляя вмятины и синяки, но он вновь и вновь бросается вперед. Нет, это уже не сам Высоцкий, и даже не Хлопуша, это вся Русь, великая Русь, которую ничто, никакие цепи, никакие плахи не могут остановить в неукротимом стремлении к свободе, к счастью. И мы вместе с Высоцким, мы подаемся вперед в своих креслах, словно стараясь помочь ему пробиться «сквозь тьму».

А его Гамлет! Любимов придумал так, что монолог «Быть или не быть» Гамлет читает в спектакле дважды. По трактовке режиссера Гамлет вначале — это студент, причем, студент-теоретик, только-только приехавший из Витенберга, из университета, и весь наличанный

абстрактными, непропущенными через собственные переживания идеалами добра и истины. Поэтому и первым монологом Высоцкий—Гамлет словно рационально препарирует проблему: «может быть быть, но тогда то-то, то-то и то-то, а может быть не быть», — холодно, спокойно, как-то аналитически. Но вот начиналась жизнь, кипели страсти, изменяли друзья, предавала мать, погибала любимая, метался на сцене, сметая все на своем пути, словно тупая сила власти — огромный от пола до потолка занавес (великая придумка художника Давида Боровского). И вот уже Гамлет—Высоцкий вступает в борьбу с этой дикой, тупой силой. И словно совсем новым текстом зазвучали те же слова: «быть, быть, быть несмотря ни на что, несмотря на страх, несмотря на ужас. Несмотря даже на смерть. Быть!» И вот уже Гамлет Высоцкого становится для нас не безвестным героем далеких времен, а героем сегодняшним, зримым, знакомым каждому из нас. Он вносил в спектакль свою боль, которая становилась нашей болью, свою страсть, которая становилась нашей страстью, свою любовь.

А любить он умел. Как это «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть», если он ненавидел, то ненавидел, а если любил... Алла Демидова вспоминает, как на похоронах мать Высоцкого говорила о том, какой это был нежный и любящий сын. Да, он умел любить, по-настоящему.

В последние годы он написал несколько прекрасных песен о любви, где вдруг открыл еще одну грань своей души, нежную и любящую. Демидова назвала его истинным мужчиной в нашем искусстве, мужчиной в самом высоком смысле этого слова. И все мы, слушая его песни, проходим у него эту школу любви, ненависти, принципиальности. Да-да, этой му-

жественности и принципиальности. У него есть хорошие песни, плохие, средние, но нет ни одной фальшивой, где бы он хоть в чем-то покривил душой. Не умел он лгать. Высшим мерил для него была правда, и которую, как пел он в своих песнях, можно оплывать, обоглать, вымазать сажей, но убить — нельзя. И науку этой мужественной правды многим из нас — и тем, кто работает в искусстве, и тем, кто не связан с ним, еще придется постигать и постигать.

И еще. Есть ужасное чувство досады за то, что многое упущено безвозвратно. За то, что мало, до обидного мало было выпущено его пластинок. За то, что он так и не успел издать сборник своих стихов. За то, что зачастую неудачно снимался в кино, и тот, кто не видел его в театре, уже никогда не сможет оценить его выдающиеся актерские данные. Он умер от инфаркта, не выдержало сердце. Он умер, как он сам пел, не от водки и не от простуд, о чем порою шепчутся обыватели, он умер потому, что никогда не жалел себя, что каждый раз работал так, словно это его последний в жизни выход. Он уставал, мечтал, как он сам пел, лечь на дно, как подводная лодка, чтоб не сумели запеленговать. Уставал от многого, но потом брал гитару или надевал театральный костюм и снова отдавал себя всего до конца.

И вот теперь его нет...

Обычно такие рассказы о безвременно ушедших людях кончают псевдооптимистическими фразами, что он-де умер, но песни его живут, а значит, и сам он с нами. Да, наверно, все это так, и все-таки это не смягчает горечи нашей потери. Говорят, когда на небе гаснет звезда, это значит, где-то умер человек, и ничем эту пустоту уже не заполнить.

А. ЦУКЕРМАН.